

КЛАССНАЯ КЛАССИКА



Н. В. Гоголь



# ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ



Machaon

Классная классика

Николай Гоголь

**Вечера на хуторе близ Диканьки**

«Азбука-Аттикус»

1831

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)1

**Гоголь Н. В.**

Вечера на хуторе близ Диканьки / Н. В. Гоголь — «Азбука-Аттикус», 1831 — (Классная классика)

ISBN 978-5-389-24287-6

В книгу великого русского писателя, классика мировой литературы Николая Васильевича Гоголя вошли повести «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница» и «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Повести проиллюстрированы знаменитым художником Олегом Коминарцем, с большим мастерством, живо и достоверно передавшим колорит бессмертных произведений писателя.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-389-24287-6

© Гоголь Н. В., 1831  
© Азбука-Аттикус, 1831

## Содержание

«Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок...»	8
Вечер накануне Ивана Купала	10
Майская ночь, или Утопленница	24
I	27
Конец ознакомительного фрагмента.	30





**Николай Васильевич Гоголь**  
**Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести,**  
**изданные пасичником Рудым Паньком**





© Коминарец О. И., иллюстрации, 2023

© Вступительная статья. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2023

Machaon®

## **«Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок...»**

Бывают такие ночи, когда случаются чудеса. Все вокруг вдруг замирает и готовится к чуду, «вверху все дышит; все дивно, все торжественно». Именно такой ночью во время пребывания у родителей на каникулах отцу Николая Васильевича Гоголя (1809–1852), Василию Афанасьевичу Гоголю-Яновскому, которому в ту пору было всего четырнадцать лет, приснился удивительный сон. Во сне ему привиделась Богородица, которая указала на маленькую девочку у Ее ног: «Ты будешь одержим многими болезнями, но то все пройдет, ты выздоровеешь, женишься, и вот твоя жена». Сон позабылся, а лицо младенчика навсегда врезалось юному Василию в память. Однажды они с отцом были в гостях у соседей. Каково же было удивление юноши, когда в маленькой дочке дворян Косяровских Василий узнал того самого младенчика у ног Богородицы. Машенька! Так звали девочку.

С тех пор Василий стал частым гостем семьи, играл с девочкой, рассказывал ей сказки. Когда пришло время выбирать невесту, Василий решил повременить. Он много лет ждал свою Машеньку и посватался именно к ней – тогда еще совсем юной девушке. Терпение молодого человека было вознаграждено. Они вышли из церкви после венчания уже в новом звании – пана и пани. Мария Ивановна стала настоящей опорой и подругой жизни для погруженного в хозяйственные и рабочие хлопоты Василия Афанасьевича.

Николай Васильевич Гоголь родился в одном из самых живописных мест Малороссии (ныне Украины). Местечко Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии стояло на правом берегу речки Псел, которая встретится читателям на страницах его произведений: «Глазам наших путешественников начал уже открываться Псел... Сквозь темно- и светло-зеленые листья небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей засверкали огненные, одетые холодом искры, и река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри деревьев».

Мальчик появился на свет слабеньким, и доктор отпустил ребенка с матерью домой не сразу. Только спустя несколько недель Николаша, которого называли в честь Николая Чудотворца, закутанный в пеленки и белую шаль, взирал из коляски на мир, расстилавшийся перед ним, – этот мир, который станет и вовсе отдельным действующим лицом в каждом его сочинении. Птица-тройка неслась мимо речек, где прятались русалки, мимо папоротников, указывающих на соколовища, мимо хаток и речки Псел, и речка эта была такая быстрая и прозрачная, что дно видно даже в самом глубоком месте... Вот-вот выйдет из-за поворота Петрусь из повести Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала» (1830) и отправится на поиски клада под цветком папоротника, а вот вдруг прошмыгнет хитрый черт, которого в самом отвратительном виде изобразил кузнец Вакула из «Ночи перед Рождеством» (1832).

Будущий писатель был непохожим на других детей. Щупленький и нервный, он не ходил, а летал, напоминая черненькую остроносенькую птичку. Николаша сторонился общества, а бледный вид придавал ему загадочности. Товарищи по гимназии в Нежине даже дали ему прозвище «таинственный карла» в честь героя романа Вальтера Скотта «Таинственный Карло» – одинокого мечтателя, недоверчивого и скрытного.

Именно ко времени учебы в Нежине относятся первые литературные опыты Гоголя. Сам он позднее признавался, что эти сочинения были «в лирическом и серьезном роде», и ни его товарищи, ни сам он не думал, что придется быть писателем, да еще и писателем комическим и сатирическим. Буква цеплялась за букву, слово – за слово, и вот уже из-под пера вышла поэма «Ганс Кюхельгартен» (1829). Молодой человек издал ее в Петербурге на деньги, присланные любимой матушкой. Казалось, что литературный успех он ухватил за хвост. Но не тут-то было.



В одной из рецензий на свою поэму он прочитал: «Свет ничего бы не потерял, если бы сия первая попытка юного таланта залежалась бы под спудом». Весь тираж Гоголь сжег. И стал оттачивать мастерство слова заново, понимая, что слово – это эхо мысли, оно требует особого обращения. Отсюда и медлительность работы писателя – он выверял каждую деталь, зачеркивал и сочинял заново, вводил все новые и новые подробности.

Работая чиновником в Министерстве внутренних дел, Гоголь не оставил мечты о писательстве. Спустя всего пару лет вышли уже названные выше произведения в составе сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком» (1831–1832), куда были помещены и другие сочинения – «Сорочинская ярмарка», «Пропавшая грамота», «Страшная месть, старинная быль», «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», «Заколдованное место». Николай Васильевич проснулся знаменитым. В это время он познакомился с В. А. Жуковским, А. С. Пушкиным, П. А. Вяземским. Именно Пушкин смог определить мастерство слова Гоголя, всемирно известного писателя, автора комедии «Ревизор» (1836) и поэмы «Мертвые души» (1842), которое не перепутаешь ни с кем другим: он мог заставить читателя «смеяться сквозь слезы грусти и умиления». Со словом Гоголь обращался бережно и честно, зная, что оно есть высший подарок Бога человеку, что неточное слово сродни лжи, поэтому писательское дело – совершенно особый род «служения земле своей».

*Наталья Дровалева,  
кандидат филологических наук*

**Вечер накануне Ивана Купала**  
**Быль, рассказанная дьячком \*\*\*ской церкви**









За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность: он до смерти не любил пересказывать одно и то же. Бывало, иногда если упросишь его рассказать что сызнова, то, смотри, что-нибудь да вкинет новое или переиначит так, что узнать нельзя. Раз один из тех господ – нам, простым людям, мудрено и назвать их – писаки они не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках. Нахватают, попросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки не толще букваря каждый месяц или неделю, – один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю, а он вовсе и позабыл о ней. Только приезжает из Полтавы тот самый панич в гороховом кафтане, про которого говорил я и которого одну повесть вы, думаю, уже прочли, – привозит с собою небольшую книжечку и, развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уже был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я, так как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть двух страниц, как он вдруг остановил меня за руку:

– Постойте! наперед скажите мне, что это вы читаете?

Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса.

– Как что читаю, Фома Григорьевич? вашу быль, ваши собственные слова.

– Кто вам сказал, что это мои слова?

– Да чего лучше, тут и напечатано: *рассказанная таким-то дьячком*.

– Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! *бреше, сучий москаль*. Так ли я говорил? *Що то вже, як у кого черт-ма клепки в голови!* Слушайте, я вам расскажу ее сейчас.

Мы придвинулись к столу, и он начал.

Дед мой (Царство ему Небесное! чтоб ему на том свете елись одни только буханцы пшеничные да маковники в меду!) умел чудно рассказывать. Бывало, поведет речь – целый день не подвинулся бы с места и все бы слушал. Уж не чета какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет *москаля везть*<sup>1</sup>, да еще и языком таким, будто ему три дня есть не давали, то хоть берись за шапку да из хаты. Как теперь помню – покойная старуха, мать моя, была

---

<sup>1</sup> То есть лгать. (Примеч. Н. В. Гоголя.)



еще жива, – как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугаясь чего, светил нам в хате. Веретено жужжало; а мы все, дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более пяти лет с своей печки. Но ни дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела Подковы, Полтора Кожуха и Сагайдачного не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу и волосы ерошились на голове. Иной раз страх, бывало, такой заберет от них, что все с вечера показывается Бог знает каким чудищем. Случится, ночью выйдешь за чем-нибудь из хаты, вот так и думаешь, что на постеле твоей укался спать выходец с того света. И чтобы мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали собственную положенную в головах свитку за свернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал и что, бывало, ни скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, пописывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которые, если дать им в руки простой Часослов, не разобрали бы ни аза в нем, а показывать на позор свои зубы – есть уменье. Им все, что ни расскажешь, в смех. Эдакое неверье разошлось по свету! Да чего, – вот не люби Бог меня и Пречистая Дева! вы, может, даже не поверите: раз как-то заикнулся про ведьм – что ж? нашелся сорвиголова, ведьмам не верит! Да, слава Богу, вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым *провозить попа в решете*<sup>2</sup> было легче, нежели нашему брату понюхать табаку; а и те отрешивались от ведьм. Но приснись им... не хочется только выговорить, что такое, нечего и толковать об них.

Лет – куды! – более чем за сто, говорил покойник дед мой, нашего села и не узнал бы никто: хутор, самый бедный хутор! Избенка десять, не обмазанных, не укрытых, торчало то сям, то там, посередине поля. Ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это ж еще богачи так жили; а посмотрели бы на нашу братью, на голь: вырытая в земле яма – вот вам и хата! Только по дыму и можно было узнать, что живет там человек Божий. Вы спросите, отчего они жили так? Бедность не бедность: потому что тогда козаковал почти всякий и набирал в чужих землях немало добра; а больше оттого, что незачем было заводить порядочную хату. Какого народу тогда не шаталось по всем местам: крымцы, ляхи, литвинство! Бывало то, что и свои наедут кучами и обдирают своих же. Всего бывало.

В этом-то хуторе показывался часто человек, или, лучше, дьявол в человеческом образе. Откуда он, зачем приходил, никто не знал. Гуляет, пьянствует и вдруг пропадет, как в воду, и слуху нет. Там, глядь – снова будто с неба упал, рыскает по улицам села, которого теперь и следу нет и которое было, может, не дальше ста шагов от Диканьки. Понаберет встречных козаков: хохот, песни, деньги сыплются, водка – как вода... Пристанет, бывало, к красным девушкам: надарит лент, серег, монист – девать некуда! Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая подарки: Бог знает, может, в самом деле перешли они через нечистые руки. Родная тетка моего деда, содержавшая в то время шинок по нынешней Опошнянской дороге, в котором часто разгульничал Басаврюк, – так называли этого бесовского человека, – именно говорила, что ни за какие благополучия в свете не согласилась бы принять от него подарков. Опять, как же и не взять: всякого проберет страх, когда нахмурит он, бывало, свои щетинистые брови и пустит исподлобья такой взгляд, что, кажется, унес бы ноги бог знает куда; а возьмешь – так на другую же ночь и тащится в гости какой-нибудь приятель из болота, с рогами на голове, и давай душить за шею, когда на шее монисто, кусать за палец, когда на нем перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в нее лента. Бог с ними тогда, с этими подарками!

<sup>2</sup> То есть солгать на исповеди. (Примеч. Н. В. Гоголя.)

Но вот беда – и отвязаться нельзя: бросишь в воду – плывет чертовский перстень или монисто поверх воды, и к тебе же в руки.

В селе была церковь, чуть ли еще, как вспомню, не Святого Пантелея. Жил тогда при ней иерей, блаженной памяти отец Афанасий. Заметив, что Басаврюк и на Светлое воскресенье не бывал в церкви, задумал было пожурить его – наложить церковное покаяние. Куды! насилу ноги унес. «Слушай, *паноче!* – загремел он ему в ответ, – знай лучше свое дело, чем мешаться в чужие, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залеплено горячею кутьею!» Что делать с окаяннным? Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто спознается с Басаврюком, станет считать за католика, врага Христовой церкви и всего человеческого рода.

В том селе был у одного козака, прозвищем Коржа, работник, которого люди звали Петром Безродным; может, оттого, что никто не помнил ни отца его, ни матери. Староста церкви говорил, правда, что они на другой же год померли от чумы; но тетка моего деда знать этого не хотела и всеми силами старалась наделить его родней, хотя бедному Петру было в ней столько нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. Она говорила, что отец его и теперь на Запорожье, был в плену у турок, натерпелся мук Бог знает каких и каким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тягу. Чернобровым дивчатам и молодежи мало было нужды до родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан, затянуть красным поясом, надеть на голову шапку из черных смушек с щегольским синим верхом, привесить к боку турецкую саблю, дать в одну руку малахай, в другую люльку в красивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних. Но то беда, что у бедного Петруся всего-навсего была одна серая свитка, в которой было больше дыр, чем у иного жида в кармане золотых. И это бы еще не большая беда, а вот беда: у старого Коржа была дочка-красавица, какую, я думаю, вряд ли доставалось вам видеть. Тетка покойного деда рассказывала, – а женщине, сами знаете, легче поцеловаться с чертом, не во гнев будь сказано, нежели назвать кого красавицею, – что полненькие щеки козачки были свежи и яркие, как мак самого тонкого розового цвета, когда, умывшись божьею росой, горит он, распрямляет листики и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком; что брови словно черные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши у проходящих по селам с коробками москалей, ровно нагнувшись, как будто гляделись в ясные очи; что ротик, на который глядя облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и создан был, чтобы выводить соловьиные песни; что волосы ее, черные, как крылья ворона, и мягкие, как молодой лен (тогда еще девушки наши не заплетали их в дрибушки, перевивая красивыми, ярких цветов синдячками), падали курчавыми кудрями на шитый золотом кунтуш. Эх, не доведи Господь возглашать мне больше на крылосе алилуйя, если бы, вот тут же, не расцеловал ее, несмотря на то что сечь пробирается по всему старому лесу, покрывающему мою макушку, и под боком моя старуха, как бельмо в глазу. Ну, если где парубок и девка живут близко один от другого... сами знаете, что выходит. Бывало, ни свет ни заря, подковы красных сапогов и приметны на том месте, где раздобаривала Пидорка с своим Петрусем. Но все бы Коржу и в ум не пришло что-нибудь недоброе, да раз – ну, это уже и видно, что никто другой, как лукавый дернул, – вздумалось Петрусю, не обсмотревшись хорошенько в сених, влепить поцелуй, как говорят, от всей души, в розовые губки козачки, и тот же самый лукавый, – чтоб ему, собачьему сыну, приснился крест святой! – настроил сдуру старого хрена отворить дверь хаты. Одеревенел Корж, разинув рот и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ему почудился он громче, чем удар макогона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутью, за неимением фузей<sup>3</sup> и пороха.

Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уже хотел было покропить ею спину бедного Петра, как откуда ни возьмись шестилетний брат Пидоркин, Ивась, прибежал и в испуге схватил ручонками его за ноги, закричав: «Тятя, тятя! не бей Петруся!» Что прика-

<sup>3</sup> Фузея – кремневое ружье.

жешь делать? у отца сердце не каменное: повесивши нагайку на стену, вывел он его потихоньку из хаты: «Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате или хоть только под окнами, то слушай, Петро: ей-богу пропадут черные усы, да и оселедец твой, вот уже он два раза обматывается около уха, не будь я Терентий Корж, если не распрощается с твоею макушей!» Сказавши это, дал он ему легонькою рукою стусана в затылок, так что Петрусь, невзвидя земли, полетел стремглав. Вот тебе и доцеловались! Взяла кручина наших голубков; а тут и слух по селу, что к Коржу повадился ходить какой-то лях, обшитый золотом, с усами, с саблею, с шпорами, с карманами, бренчавшими как звонок от мешочка, с которым пономарь наш, Тарас, отправляется каждый день по церкви. Ну, известно, зачем ходят к отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вот один раз Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего: «Ивасю мой милый, Ивасю мой любый! беги к Петрусью, мое золотое дитя, как стрела из лука; расскажи ему все: любила б его карие очи, целовала бы его белое личико, да не велит судьба моя. Не один рушник вымочила горячими слезами. Тошно мне. Тяжело на сердце. И родной отец – враг мне: неволит идти за нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовят, только не будет музыки на нашей свадьбе: будут дьяки петь вместо кобз и сопилок. Не пойду я танцевать с женихом своим: понесут меня. Темная, темная моя будет хата: из кленового дерева, и вместо трубы крест будет стоять на крыше!»

Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины речи. «А я думал, несчастный, идти в Крым и Туречину, навоевать золота и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому. Недобрый глаз поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка, будет и у меня свадьба: только и дьяков не будет на той свадьбе; ворон черный прокрячет вместо попа надо мною; гладкое поле будет моя хата; сизая туча – моя крыша; орел выклюет мои карие очи; вымоют дожди козацкие косточки, и вихорь высушит их. Но что я? на кого? кому жаловаться? Так уже, видно, Бог велел, – пропадать так пропадать!» – да прямехонько и побрел в шинок.

Тетка покойного деда немного изумилась, увидевши Петруся в шинке, да еще в такую пору, когда добрый человек идет к заутрене, и выпучила на него глаза, как будто спросонья, когда потребовал он кухоль сивухи мало не с полведра. Только напрасно думал бедняжка залить свое горе. Водка щипала его за язык, словно крапива, и казалась ему горше полыни. Кинул от себя кухоль на землю. «Полно горевать тебе, козак!» – загремело что-то басом над ним. Оглянулся: Басаврюк! у! какая образина! Волосы – щетина, очи – как у вола! «Знаю, чего недостает тебе: вот чего!» Тут брякнул он с бесовскою усмешкою кожаным, висевшим у него возле пояса, кошельком. Вздвогнул Петро. «Ге-ге-ге! да как горит! – заревел он, пересыпая на руку червонцы. – Ге-ге-ге! да как звенит! А ведь и дела только одного потребую за целую гору таких цацек». – «Дьявол! – закричал Петро. – Давай его! на все готов!» Хлопнули по рукам. «Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору: завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь в году и цветет папоротник. Не прозевай! Я тебя буду ждать о полночи в Медвежьем овраге».



Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как дожидался Петрусь вечера. То и дело что смотрел, не становится ли тень от дерева длиннее, не румянится ли понизившееся солнышко, – и что далее, тем нетерпеливей. Экая долгота! видно, день божий потерял где-нибудь конец свой. Вот уже и солнца нет. Небо только краснеет на одной стороне. И оно уже тускнет. В поле становится холодней. Примеркает, примеркает и – смерклось. Насилу! С сердцем, только что не хотевшим выскочить из груди, собрался он в дорогу и бережно спустился густым лесом в глубокий яр, называемый Медвежьим оврагом. Басаврюк уже поджидал там. Темно, хоть в глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на каждом шагу. Вот и ровное место. Огляделся Петро: никогда еще не случилось ему заходить сюда. Тут остановился и Басаврюк.

– Видишь ли ты, стоят перед тобою три пригорка? Много будет на них цветов разных; но сохрани тебя нездешняя сила вырвать хоть один. Только же зацветет папоротник, хватай его и не оглядывайся, что бы тебе позади ни чудилось.

Петро хотел было спросить... глядь – и нет уже его. Подошел к трем пригоркам; где же цветы? Ничего не видать. Дикий бурьян чернел кругом и глушил все своею густотою. Но вот блеснула на небе зарница, и перед ним показалась целая гряда цветов, все чудных, все невиданных; тут же и простые листья папоротника. Поусомнился Петро и в раздумье стал перед ними, подпершись обеими руками в боки.

– Что тут за невидальщина? десять раз на день, случается, видишь это зелье; какое ж тут диво? Не вздумала ли дьявольская рожа посмеяться?

Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом деле, чудно! Движется и становится все больше, больше и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя.



«Теперь пора!» – подумал Петро и протянул руку. Смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук также к цветку, а позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурив глаза, дернул он за стебелек, и цветок остался в его руках. Все утихло. На пне показался сидящим Басаврюк, весь синий, как мертвец. Хоть бы пошевелился одним пальцем. Очи недвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только; рот вполовину разинут, и ни ответа. Вокруг не шелухнет. Ух, страшно!.. Но вот послышался свист, от которого захолонуло у Петра внутри, и почувдилось ему, будто трава зашумела, цветы начали между собою разговаривать голоском тоненьким, будто серебряные колокольчики; деревья загремели сыпучею бранью. Лицо Басаврюка вдруг ожило; очи сверкнули. «Насилу воротилась, яга! – проворчал он сквозь зубы. – Гляди, Петро, станет перед тобою сейчас красавица: делай все, что ни прикажет, не то пропал навеки!» Тут разделил он суковатую палкою куст терновника, и перед ними показалась избушка, как говорится, на курьих ножках. Басаврюк ударил кулаком, и стена зашаталась. Большая черная собака выбежала навстречу и с визгом, оборотившись в кошку, кинулась в глаза им. «Не бесись, не бесись, старая чертовка!» – проговорил Басаврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. Глядь, вместо кошки старуха, с лицом, сморщившимся, как печеное яблоко, вся согнутая в дугу; нос с подбородком словно щипцы, которыми щелкают орехи. «Славная красавица!» – подумал Петро, и мурашки пошли по спине его. Ведьма вырвала у него цветок из рук, наклонилась и что-то долго шептала над ним, вспрыскивая какою-то водою. Искры посыпались у ней изо рта; пена показалась на губах. «Бросай!» – сказала она, отдавая цветок ему. Петро подбросил, и что за чудо? – цветок не упал прямо, но долго казался огненным шариком посреди мрака и, словно лодка, плавал по воздуху; наконец потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна была звездочка, не больше макового зерна. «Здесь!» – глухо прохрипела старуха; а Басаврюк, подавая ему заступ, примолвил: «Копай здесь, Петро. Тут увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни Коржу не снилось». Петро, поплевав в руки, схватил заступ, надавил ногою и выворотил землю, в другой, в третий, еще раз... что-то твердое!.. Заступ звенит и нейдет далее. Тут глаза его ясно начали различать небольшой, окованный железом сундук. Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю, и все, чем далее, глубже, глубже; а позади его слышался хохот, более схожий с змеиным шипеньем. «Нет, не видать тебе золота, покамест не достанешь крови человеческой!» – сказала ведьма и подвела к нему дитя лет шести, накрытое белую простынею, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову. Остолбенел Петро. Малость, отрезать ни за что ни про что человеку голову, да еще и безвинному ребенку! В сердцах сдернул он простыню, накрывавшую его голову, и что же? Перед ним стоял Ивась. И ручонки сложило бедное дитя накрест, и головку повесило... Как бешеный подскочил с ножом к ведьме Петро и уже занес было руку...







– А что ты обещал за девушку?.. – грянул Басаврюк и словно пулю посадил ему в спину. Ведьма топнула ногою: синее пламя выхватилось из земли; середина ее вся осветилась и стала как будто из хрусталя вылита; и все, что ни было под землею, сделалось видимо как на ладони. Червонцы, дорогие камни, в сундуках, в котлах, горами были навалены под тем самым местом, где они стояли. Глаза его загорелись... ум помутился... Как безумный, ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи... Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним. Ведьма, вцепившись руками в обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь... Все пошло кругом в голове его! Собравши все силы, бросился бежать он. Все покрылось перед ним красным цветом. Деревья, все в крови, казалось, горели и стонали. Небо, раскалившись, дрожало... Огненные пятна, что молнии, мерещились в его глазах. Выбившись из сил, вбежал он в свою лачужку и, как сноп, повалился на землю. Мертвый сон охватил его.

Два дни и две ночи спал Петро без просыпу. Очнувшись на третий день, долго осматривал он углы своей хаты; но напрасно старался что-нибудь припомнить: память его была как карман старого скряги, из которого полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышал он, что в ногах брякнуло. Смотрит: два мешка с золотом. Тут только, будто сквозь сон, вспомнил он, что искал какого-то клада, что было ему одному страшно в лесу... Но за какую цену, как достался он, этого никаким образом не мог понять.

Увидел Корж мешки и – разнежился: «Сякой, такой Петрусь, немазаний! да я ли не любил его? да не был ли у меня он как сын родной?» – и понес хрыч небывальщину, так что того до слез разобрало. Пидорка стала рассказывать ему, как проходившие мимо цыгане украли Ивася. Но Петро не мог даже вспомнить лица его: так обморочила проклятая бесовщина! Мешкать было незачем. Поляку дали под нос дулю, да и заварили свадьбу: напекли шишек, нашили рушников и хусток, выкатили бочку горелки; посадили за стол молодых; разрезали коровай; брякнули в бандуры, цимбалы, сопилки, кобзы – и пошла потеха...

В старину свадьба водилась не в сравнение с нашей. Тетка моего деда, бывало, расскажет – люли только! Как дивчата, в нарядном головном уборе из желтых, синих и розовых стричек, на верх которых навязывался золотой галун, в тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шелком и унизанных мелкими серебряными цветочками, в сафьянных сапогах на высо-

ких железных подковах, плавно, словно павы, и с шумом, что вихорь, скакали в горлице. Как молодичицы, с корабликом на голове, которого верх сделан был весь из сутозолотой парчи, с небольшим вырезом на затылке, откуда выглядывал золотой очипок, с двумя выдавшимися, один наперед, другой назад, рожками самого мелкого черного смушка; в синих, из лучшего полутабенку, с красными клапанами кунтушах, важно подбоченившись, выступали поодиночке и мерно выбивали гопака. Как парубки, в высоких козацких шапках, в тонких суконных свитках, затянутых шитыми серебром поясами, с люльками в зубах, рассыпались перед ними мелким бесом и подпускали туры. Сам Корж не утерпел, глядя на молодых, чтобы не трянуть стариною. С бандурою в руках, потягивая люльку и вместе припевая, с чаркою на голове, пустился старичина, при громком крике гуляк, вприсядку. Чего не выдумают навеселе! Начнут, бывало, наряжаться в хари – боже ты мой, на человека не похожи! Уж не чета нынешним переодеваньям, что бывают на свадьбах наших. Что теперь? – только что корчат цыганок да москалей. Нет, вот, бывало, один оденется жидом, а другой чертом, начнут сперва целоваться, а после ухватятся за чубы... Бог с вами! смех нападет такой, что за живот хватаешься. Поодедутся в турецкие и татарские платья: все горит на них, как жар... А как начнут дуреть да строить штуки... ну, тогда хоть святых выноси... С теткой покойного деда, которая сама была на этой свадьбе, случилась забавная история: была она одета тогда в татарское широкое платье и с чаркою в руках угощала собрание. Вот одного дернул лукавый окатить ее сзади водкою; другой, тоже, видно, не промах, высек в ту же минуту огня, да и поджег... пламя вспыхнуло, бедная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать с себя, при всех, платье... Шум, хохот, ералаш поднялся, как на ярмарке. Словом, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы.

Начали жить Пидорка да Петрусь, словно пан с панею. Всего вдоволь, все блесит... Однако же добрые люди качали слегка головами, глядя на житье их. «От черта не будет добра, – поговаривали все в один голос. – Откуда, как не от искуителя люда православного, пришло к нему богатство? Где ему было взять такую кучу золота? Отчего вдруг, в самый тот день, когда разбогател он, Басаврюк пропал, как в воду?» Говорите же, что люди выдумывают! Ведь в самом деле, не прошло месяца, Петруся никто узнать не мог. Отчего, что с ним сделалось, Бог знает. Сидит на одном месте, и хоть бы слово с кем. Все думает и как будто бы хочет что-то припомнить. Когда Пидорке удастся заставить его о чем-нибудь заговорить, как будто и забудется, и поведет речь, и развеселится даже; но ненароком посмотрит на мешки – «постой, постой, позабыл!» – кричит, и снова задумается, и снова силится про что-то вспомнить. Иной раз, когда долго сидит на одном месте, чудится ему, что вот-вот все сызнова приходит на ум... и опять все ушло. Кажется: сидит в шинке; несут ему водку; жжет его водка; противна ему водка. Кто-то подходит, бьет по плечу его... но далее все как будто туманом покрывается перед ним. Пот валит градом по лицу его, и он в изнеможении садится на свое место.

Чего ни делала Пидорка: и совещалась с знахарями, и переполох выливали, и соняшницу заваривали<sup>4</sup> – ничто не помогало. Так прошло и лето. Много козаков обкосилось и обжалось; много козаков, поразгульнее других, и в поход потянулось. Стаи уток еще толпились на болотах наших, но крапивянок уже и в помине не было. В степях покраснело. Скирды хлеба то сям, то там, словно козацкие шапки, пестрели по полю. Попадались по дороге и возы, наваленные хворостом и дровами. Земля сделалась крепче и местами стала прохватываться морозом. Уже и снег начал сеяться с неба, и ветви дерев убрались инеем, будто заячьим мехом. Вот уже в ясный морозный день красногрудый снегирь, словно щеголеватый польский шляхтич, прогуливался по снеговым кучам, вытаскивая зерно, и дети огромными киями гоняли по

<sup>4</sup> Выливают переполох у нас в случае испуга, когда хотят узнать, отчего приключился он; бросают расплавленное олово или воск в воду, и чье примут они подобие, то самое перепугало больного; после чего и весь испуг проходит. Заваривают соняшницу от дурноты и боли в животе. Для этого зажигают кусок пеньки, бросают в кружку и опрокидывают ее вверх дном в миску, наполненную водою и поставленную на животе больного; потом, после зашептываний, дают ему выпить ложку этой самой воды. (Примеч. Н. В. Гоголя.)



льду деревянные кубари, между тем как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам, с зажженной люлькою в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец или проветриться и промолотить в снях залежалый хлеб. Наконец снега стали таять, и *щука хвостом лед расколотила*, а Петро все тот же, и чем далее, тем еще суровее. Как будто прикованный, сидит посередине хаты, поставив себе в ноги мешки с золотом. Одичал, оброс волосами, стал страшен; и все думает об одном, все силится припомнить что-то; и сердится и злится, что не может вспомнить. Часто дико подымается с своего места, поводит руками, вперяет во что-то глаза свои, как будто хочет уловить его; губы шевелятся, будто хотят произнести какое-то давно забытое слово, – и неподвижно останавливаются... Бешенство овладевает им; как полоумный, грызет и кусает себе руки и в досаде рвет клоками волоса, покамест, утихнув, не упадет, будто в забытие, и после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука... Что это за напасть Божия? Жизнь не в жизнь стала Пидорке. Страшно ей было оставаться сперва одной в хате, да после свыклась бедняжка с своим горем. Но прежней Пидорки уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмешки: изныла, исчахла, выплакались ясные очи. Раз кто-то уже, видно, сжалился над ней, посоветовал идти к колдунье, жившей в Медвежьем овраге, про которую ходила слава, что умеет лечить все на свете болезни. Решилась попробовать последнее средство; слово за слово, уговорила старуху идти с собою. Это было ввечеру, как раз накануне Купала. Петро в беспамятстве лежал на лавке и не примечал вовсе новой гостыи. Как вот мало-помалу стал приподниматься и всматриваться. Вдруг весь задрожал, как на плахе; волосы поднялись горою... и он засмеялся таким хохотом, что страх врезался в сердце Пидорки. «Вспомнил, вспомнил!» – закричал он в страшном веселье и, размахнувши топор, пустил им со всей силы в старуху. Топор на два вершка вбежал в дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лет семи, в белой рубашке, с накрытою головою, стало посреди хаты... Простыня слетела. «Ивась!» – закричала Пидорка и бросилась к нему; но привидение все с ног до головы покрылось кровью и осветило всю хату красным светом... В испуге выбежала она в сени; но, опомнившись немного, хотела было помочь ему; напрасно! дверь захлопнулась за нею так крепко, что не под силу было отпереть. Сбежались люди; принялись стучать; высадили дверь: хоть бы душа одна. Вся хата полна дыма, и посередине только, где стоял Петрусь, куча пеплу, от которого местами подымался еще пар. Кинулись к мешкам: одни битые черепки лежали вместо червонцев. Выпуча глаза и разинув рты, не смея пошевелинуть усом, стояли козаки, будто вкопанные в землю. Такой страх навело на них это диво.



Что было далее, не вспомню. Пидорка дала обет идти на богомолье; собрала оставшееся после отца имущество, и через несколько дней ее точно уже не было на селе. Куда ушла она, никто не мог сказать. Услужливые старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился; но приехавший из Киева козак рассказал, что видел в лавре монахиню, всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, в которой земляки, по всем приметам, узнали Пидорку; что будто еще никто не слышал от нее ни одного слова; что пришла она пешком и принесла оклад к иконе Божией Матери, исцвеченный такими яркими камнями, что все зажмурились, на него глядя.

Позвольте, этим еще не все кончилось. В тот самый день, когда лукавый припрятал к себе Петруся, показался снова Басаврюк; только все бегом от него. Узнали, что это за птица: никто другой, как Сатана, принявший человеческий образ для того, чтобы отрывать клады; а как клады не даются нечистым рукам, так вот он и приманивает к себе молодцов. Того же году все побросали землянки свои и перебрались в село; но и там, однако ж, не было покою от проклятого Басаврюка. Тетка покойного деда говорила, что именно злился он более всего на нее за то, что оставила прежний шинок по Опошнянской дороге, и всеми силами старался выместить все на ней. Раз старшины села собрались в шинок и, как говорится, беседовали по чинам за столом, посередине которого поставлен был, грех сказать чтобы малый, жареный баран. Калякали о сем и о том, было и про диковинки разные, и про чуда. Вот и померещилось, — еще бы ничего, если бы одному, а то именно всем, — что баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились, и вмиг появившиеся черные щетиновые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас узнали на бараньей голове рожу Басаврюка; тетка деда моего даже думала уже, что вот-вот попросит водки... Честные старшины за шапки да скорей восвояси. В другой раз сам церковный староста, любивший по временам раздобаривать глаз на глаз с дедовскою чаркою, не успел еще раза два достать дна, как видит, что чарка кланяется ему в пояс. Черт с тобою! давай креститься!.. А тут с половиною его тоже диво: только что начала она замешивать тесто в огромной диже, вдруг дижа выпрыгнула. «Стой, стой!» — куды! подбоченившись важно, пустилась вприсядку по всей хате... Смейтесь; однако ж не до

смеха было нашим дедам. И даром, что отец Афанасий ходил по всему селу со святою водою и гонял черта кропилом по всем улицам, а все еще тетка покойного деда долго жаловалась, что кто-то, как только вечер, стучит в крышу и царапается по стене.

Да чего! Вот теперь на этом самом месте, где стоит село наше, кажись, все спокойно; а ведь еще не так давно, еще покойный отец мой и я запомню, как мимо развалившегося шинка, который нечистое племя долго после того поправляло на свой счет, доброму человеку пройти нельзя было. Из закоптевшей трубы столбом валил дым и, поднявшись высоко, так, что посмотреть – шапка валилась, рассыпался горячими угольями по всей степи, и черт, – нечего бы и вспоминать его, собачьего сына, – так всхлипывал жалобно в своей конуре, что испуганные гайвороны<sup>5</sup> стаями подымались из ближнего дубового леса и с диким криком метались по небу.



---

<sup>5</sup> Гайвороны – грачи.

## Майская ночь, или Утопленница



*Ворог його батька знає! почнуть що-небудь робить люди хрещені, то мурдуютьця, мурдуютьця, мов хорти за зайцем, а все щось не до шмигу; тільки ж куди чорт уплетеця, то верть хвостиком – так де воно й візмеця, неначе з неба<sup>6</sup>.*

---

<sup>6</sup> Черт его знает! Начнут что-нибудь крещеные люди делать, мучатся, терзаются, словно гончие за зайцем, а все нет толку; уж куда черт вмешается, верть хвостиком, – так и не знаешь, откуда оно и возьмется, как будто с неба (укр.).









## I Ганна

Звонкая песня лилась рекою по улицам села \*\*\*. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в кружок, в блеске чистого вечера, выливать свое веселье в звуки, всегда неразлучные с уныньем. И задумавшийся вечер мечтательно обнимал синее небо, превращая все в неопределенность и даль. Уже и сумерки; а песни всё не утихали. С бандурою в руках пробирался ускользнувший от песельников молодой козак Левко, сын сельского головы. На козаке решетиловская шапка. Козак идет по улице, бренчит рукою по струнам и подплясывает. Вот он тихо остановился перед дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заиграл он и запел:

– Сонце низенько, вечір близенько,  
Вийди до мене, моє серденько!



Нет, видно, крепко заснула моя ясноокая красавица! – сказал козак, окончивши песню и приближаясь к окну. – Галю! Галю! ты спишь или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, чтобы нас кто не увидел, или не хочешь, может быть, показать белое личико на холод! Не бойся: никого нет. Вечер тепел. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою руками тебя – и никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отопрею поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на миг. Просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою... Нет, ты не спишь, гордая дивчина! – проговорил он громче и таким голосом, каким выражает себя устыдившийся мгновенного унижения. – Тебе любо издеваться надо мною, прощай!

Тут он отворотился, насунул набекрень свою шапку и гордо отошел от окошка, тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери в это время завертелась: дверь распахнулась со скрипом, и девушка на пороге семнадцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила через порог. В полуясном мраке горели приветно, будто звездочки, ясные очи; блистало красное коралловое монисто, и от орлиных очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щеках ее.

– Какой же ты нетерпеливый, – говорила она ему вполголоса. – Уже и рассердился! Зачем выбрал ты такое время: толпа народу шатается то и дело по улицам... Я вся дрожу...

– О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мне покрепче! – говорил парубок, обнимая ее, отбросив бандуру, висевшую на длинном ремне у него на шее, и садясь вместе с нею у дверей хаты. – Ты знаешь, что мне и часу не видать тебя горько.

– Знаешь ли, что я думаю? – прервала девушка, задумчиво уставив в него свои очи. – Мне все что-то будто на ухо шепчет, что вперед нам не видаться так часто. Недобрые у вас люди: девушки все глядят так завистливо, а парубки... Я примечаю даже, что мать моя с недавней поры стала суровее приглядывать за мною. Признаюсь, мне веселее у чужих было.

Какое-то движение тоски выразилось на лице ее при последних словах.

– Два месяца только в стороне родной, и уже соскучилась! Может, и я надоел тебе?

– О, ты мне не надоел, – молвила она, усмехнувшись. – Я тебя люблю, чернобровый козак! За то люблю, что у тебя карие очи, и как поглядишь ты ими – у меня как будто на душе усмежается: и весело и хорошо ей; что приветливо моргаешь ты черным усом своим; что ты идешь по улице, поешь и играешь на бандуре, и люблю слушать тебя.

– О моя Галя! – вскрикнул парубок, целуя и прижимая ее сильнее к груди своей.

– Пой! полно, Левко. Скажи наперед, говорил ли ты с отцом своим?

– Что? – сказал он, будто проснувшись. – Что я хочу жениться, а ты выйти за меня замуж – говорил.

Но как-то унывно зазвучало в устах его это слово «говорил».

– Что же?

– Что станешь делать с ним? Притворился старый хрен, по своему обыкновению, глухим: ничего не слышит и еще бранит, что шатаюсь Бог знает где, повесничаю и шалю с хлопцами по улицам. Но не тужи, моя Галя! Вот тебе слово козацкое, что уломаю его.

– Да тебе только стоит, Левко, слово сказать – и все будет по-твоему. Я знаю это по себе: иной раз не послушала бы тебя, а скажешь слово – и невольно делаю, что тебе хочется. Посмотри, посмотри! – продолжала она, положив голову на плечо ему и подняв глаза вверх, где необъятно синело теплое украинское небо, завешенное снизу кудрявыми ветвями стоявших перед ними вишен. – Посмотри, вон-вон далеко мелькнули звездочки: одна, другая, третья, четвертая, пятая... Не правда ли, ведь это ангелы Божии поотворяли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас? Да, Левко? Ведь это они глядят на нашу землю? Что, если бы у людей были крылья, как у птиц, – туда бы полететь, высоко, высоко... Ух, страшно! Ни один дуб у нас не достанет до неба. А говорят, однако же, есть где-то, в какой-то далекой земле, такое дерево, которое шумит вершиною в самом небе, и Бог сходит по нем на землю ночью перед светлым праздником.

– Нет, Галя; у Бога есть длинная лестница от неба до самой земли. Ее становятся перед Светлым воскресением святые архангелы; и как только Бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят стремглав и кучами попадают в пекло, и оттого на Христов праздник ни одного злого духа не бывает на земле.

– Как тихо колыхнется вода, будто дитя в люльке! – продолжала Ганна, указывая на пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом и оплакиваемый вербами, потопившими в нем жалобные свои ветви. Как бессильный старец, держал он в холодных объятиях своих далекое, темное небо, обсыпая ледяными поцелуями огненные звезды, которые тускло реяли среди



теплого ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое появление блистательного царя ночи. Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом; мох и дикая трава покрывали его крышу; кудрявые яблони разрослись перед его окнами; лес, обнимая свою тенью, бросал на него дикую мрачность; ореховая роща стлалась у подножия его и скатывалась к пруду.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.